

ЛЕДОХОД

1

Первый муж тёти Нади погиб на войне. Дочка умерла. Деревню разорили во времена укрупнения: хотели целиком переселить в соседнюю Бахту, но никто не согласился, и все разъехались кто куда. Тётя Надя вопреки всему осталась. Второго мужа на её глазах убило молнией в лодке по дороге с покоса.

В деревню, разрушенную, заросшую лопухами и крапивой, стала летом приезжать зоологическая экспедиция. Поселился постоянный сотрудник с семьёй, тётя Надя уже зимовала не одна.

Всё большое и опасное у этой маленькой безбровой старушки с птичьим лицом называлось «оказией». Плотоматка (буксир с плотом) прошла близко – «Самолов бы не зацепила. Сто ты – такая оказия!» «Щуки в сеть залезли – такие оказии! А сетка тонкая, как лебезиночка, – всю изнахратили». Рыбачила она всю жизнь, девчонкой, когда отец болел, военными зимами, не жалея рук, в бабьей бригаде, и сейчас, хотя уже «самолов не ложила», а ставила только сеть под коргой, которую каждое утро проверяла на гребях...

Туда пробиралась, не спеша, вдоль самого берега, а вниз летела по течению на размеренных махах. О рыбалке у неё были свои особые представления. Кто-то спросил её, как правильно вывесить груза для плавной сети, на что она ответила: «Делай полегче, а потом в верёвку песочек набьётся и в аккурат будет». В рыбаках тётя Надя ценила хваткость и смелость, умела радоваться за других и не любила ленивых, вялых и трусливых людей («Колька моводец. А Ленька никудысный, не сиверный»). Зимой тётя Надя настораживала отцовский путик и ходила в тайгу

проверять капканы с рюкзаком и ружьём, с посохом в руках, на маленьких камусных лыжах, в игрушечных, почти круглых бродешках, в тёплых штанах, фуфайке и огромных рукавицах.

С приезжими у тёти Нади установились свои отношения. Студентки посещали «колоритную» старушку, угощавшую их «вареньями и оладьями», дивились её жизнестойкости, писали под диктовку письма сестре Прасковье в Ялуторовск, а зимой слали посылки и открытки. Тётю Надю это очень трогало, она отвечала: «Сизупису одна как палец», и посылала кедровые орешки в мешочке, копчёную стерлядку или баночку варенья. Девушки обращались к ней за советами в щекотливых делах. Тётя Надя учила: «Своим умом зыви. Музык – он улична собака». Студенты мужского пола с удовольствием пили у неё бражку, закусывали жареной рыбкой, что было неплохо после дежурных макарон с редкой тушёнкой, и за глаза посмеивались над «бабкой», которая не выговаривает букву «ш» и по праздникам подводит брови углем.

У тёти Нади было много знакомых, но постоянно её посещали «сродный брат» Митрофан Акимыч и Петя Петров.

Митрофан – крепкий и статный старик с плаксивым голосом, всегда ездивший на новом моторе. Завидев подрулившего гостя, тётя Надя выбегала из дома и кричала ему с угора, а он кричал ей снизу, и так они перекликались, пока он не подымался, потом обнимались и шли в избу. Выпив, Митрофан становился невозможно суетливым, бегал, кричал, здоровался со всеми подряд двумя руками, спрашивал, как здоровье и ребятишки, кричал, указывая на бабуку: «А это сестра моя, под обхватной кедрой родилась...» – всплакивал, тут же, махнув рукой, смеялся, а когда уезжал, просил кого-нибудь завести ему мотор. Когда это делали, он влезал в лодку, хватал румпель, включал реверс и уносился на страшной скорости, размашисто крутанув указательным пальцем у лица и приложив его к губам: мол, погуляли и молчок.

Петя Петров был отличным, но насквозь запойным мужиком. С Севера он привез жену-селькупку. Они работали на почте на пару и пили тоже на пару, по поводу чего в Бахте острили: «Вот красота-то! Все пьют – все довольны. Чем не счастье?» Петя любил общение, говорил с жаром, рассказывая истории, которые, по-видимому сам и сочинял. Любимое выражение у него было «море»: «Рыбы там, веришь ли, мор-р-рэ». Раз мы приехали к тёте Наде с Петей, Петя вскоре набрался, мы стали его грузить в лодку, под его же руководством, но не удержали. Он соскользнул вниз головой в воду у берега, уткнулся лысиной в гальку, и хоть его тут же подняли, мне на всю жизнь запомнились глядящие сквозь прозрачную енисейскую водицу серые глаза и медленно шевелящиеся пряди редких волос.

Изредка к тётё Наде приезжала погостить баба Таня, древняя сумароковская националка. Из вещей у неё была только длинная удочка и банка с червями. Говорила она хриплым голосом и всё время проводила под угором, таская ельчиков, которыми тётя Надя кормила кошек. Кроме кошек, тётя Надя ещё держала петуха с двумя курицами, собак и лошадь Белку.

В Селиванихе от прежних построек остались только заросшие крапивой ямы да гнилые оклады, но тётя Надя упрямо называла всё прежними именами: интернат, звероферма, будановский дом, магазин, пекарня...

Тётя Надя любила угощать. Проходишь мимо её дома, она выскочит на крыльцо с блюдцем и кричит: «Миса-а-а! Постой-ка, я тебя блинками угощу!» К праздникам она относилась серьёзно, за несколько дней готовилась, стряпала, прибиралась в избе, приводила себя в порядок. Когда подходили гости, выскакивала на крыльцо в чёрной юбке, красной кофте, в крупных бусах и цветастом платке и выкрикивала специальным высоким голосом: «Милости просим, дорогие гости, всё готово!» Усаживала за стол, угощала, следила, чтоб у всех было налито, носилась с закусками, подавала кому полотенце, кому воду, и никогда не ставила себе стула, возмущаясь: «Удди! Я хозяйка». Потом, когда по её плану было пора, вдруг запевала частушки, вроде:

Поп с печки упал

Со всего размаху.

Зубы выбил, хрен сломал,

Разорвал рубаху!

Потом доходила очередь до песен, их она знала «морэ». Тёти-Надин дом приходил в негодность, разваливался, садился, напоминая тонущий корабль, и жить в нём становилось опасно. После долгих разговоров начальник предложил срубить новый дом за счёт экспедиции с условием, что он перейдёт в собственность станции, а тётя Надя просто будет жить в нём до конца своих дней. Тётя Надя долго думала, решала, сомневалась, а потом согласилась, потому что деваться ей было некуда. Дом строил бич Боря. Тётя Надя заботилась об одном: чтобы всё в новом доме было как в старом. Чтоб перегородка на том же месте, и чтоб русская печка такая же. Когда всё было почти готово, она выбежала с банкой синей краски и покрасила наличники, а потом нарисовала на них белые цветочки с листьями: «Гля-ка, как я окошки украсила». Потом она расставила в прежнем порядке мебель: буфет, кровать, стол, стулья, постелила половики, повесила на стены всё то, что висело на стенах прежнего дома: ковёр с оленями, календари,

плакаты, фотографии, растопыренный глухариный хвост, шкурку летяги, ленточки, колокольчики, чьи-то подарки в пакетах, и когда я приехал проведать тётю Надю, было полное ощущение, что это её старый дом – так сумела она перенести сюда всю прежнюю обстановку. Так же глядел с фотографии убитый молнией Мартимьян Палыч, так же пахло от плиты горелым рыбьим жиром и так же свисал с полки кошачий хвост.

Хорошо было заезжать к тёте Наде после охоты. Промчишься, развернёшься, заглушишь «буран» у крыльца, а она уже кричит из избы: «Заходи, заходи, дома я». И даже если она совсем тебя и не ждала, она всё равно защебечет: «А я как чувствовала! Как чувствовала! А Петенька-то, Петенька, с утра ревет лихоматом! А коски-то, коски с ума сосли! Снимай, снимай, снимай, сто т-ты – мороз такой! На печку лозы. А у меня как раз хлеб свежий. Ну, садись рассказывай, как там жизнь у вас, как промыслили? Ну и слава Богу, слава Богу. А я тозе поохотилась. Гля, каку крысу в капкан добыла – цельный ондатр. Красота! Сейчас осниму, а летом туристам – возьмут как милые. О-о-х, и смех, и грех... А у меня день розденье скоро, Юра посулился быть. Приезжайте с Толиком. В тайгу? А-а-а... Ну, сто делать, надо, надо...»

Юра работал бакенщиком. В навигацию, проверяя бакена и створы, он часто заезжал к тёте Наде и, косясь на стол, рассказывал, как в Бахте «рыбнадзоры припутали Ванюшку Деревянного» или как медведь опять разобрал створы у Соснового ручья, а она восклицала: «Ты сказы! От падина!» и наливала ему крепкой, покрашенной жжёным сахаром браги.

Настал день рожденья, тёте Наде исполнялось семьдесят пять лет. Она встала ни свет ни заря, затопила печки, бросилась подметать, готовить стол, сбегала пригласить заведующего Колю с женой, вернулась, снова принялась хлопотать, гадая, приедет Юра один или с дочкой, и прислушиваясь ко всем звукам, доносящимся с улицы. Собаки залают, самолёт пролетит, она выбежит на крыльцо с биноклем, глядит на Енисей: что там за точка, не Юра ли едет, нет – торосинка это или куст, кажется. Ладно, к обеду-то точно должен быть. Проходит день, настаёт вечер. Нет Юры. На столе тарелочки с закусками: брусника, грибки, солёная черемша, печёная налимя икра, копчёная селёдка, блины, свежий хлеб, компот в банке. Приходят Коля с женой, приносят подарок:

– Что, нет Юры?

– Зду, зду. Все глаза проглядела. Во сне видала – долзон приехать. Петенька-то с утра, сто ты! Токо гром делат! А коски-то, коски! Ну, проходите, проходите!

Уже темно, и ясно, что Юры не будет, тётя Надя говорит:

– Ну, значит, дела, дела у него. Я давеча карты разлозыла – казённый дом выходит. Или «буран» сломался. Теперь уж с утра здать будем.

Так три дня тётя Надя и держала накрытый стол, выбегала на угор с биноклем, но так и не доехал до неё Юра, гулявший у соседа.

2

На угоре напротив тётя-Надиного дома стоял кожаный диванчик с катера, у крыльца лежал коврик из распоротой бурановской гусеницы. Летом тётя Надя ставила рядом с диванчиком железную печку для готовки. Душными июльскими днями с синей мглой над ровным Енисеем бабка в штанах, чтобы не ел комар, всё что-то варила на печке, а у дымокура подёргивала шкурой и обмахивалась хвостом серая кобыла. («Ты сказы – Белку совсем заздрали».)

Белку тётя Надя любила особой любовью. Это была старая, но ещё здоровая лошадь, оставшаяся без работы, когда в Селиванихе появился «буран». Тётя Надя упрямо продолжала ставить сено, любые разговоры о том, чтобы продать Белку, воспринимала как оскорбление и очень оживилась, когда сломался «буран» и пришлось запрягать Белку, чтобы привезти из Бахты продукты к Новому году. Как-то раз летом Белка потерялась, и тётя Надя плакала:

– Манила её, манила. Нету-ка нигде. Наверно, медведь задрал.

Белка нашлась. Шли годы. Тётя Надя старела. Всё трудней становилось ходить за Белкой, ставить сено. «Всё-таки придётся Белку в Бахту сдать, – привыкала бабка к этой мысли, – там она хоть работать будет, а то у меня-то совсем застоялась». В Бахте на конях возили сено с Сарчихи и Банного острова, хлеб из пекарни в магазин и воду по домам. Наконец, тётя Надя решилась. За Белкой приехали с вечера на деревянной лодке с загородкой из жердей, а ранним утром её погрузили и повезли в Бахту. Я встретил их по пути на рыбалку и несколько раз оглядывался. Подымался туман, расплывались и ломались очертания берегов, лодки видно не было, и казалось, что над Енисеем висит в воздухе конь.

Как-то раз сдавали мы рыбу на звероферму. Спускали в ледник тяжёлые мокрые мешки. В леднике было темно и холодно, хлюпала под ногами вода. Вдруг моя нога наткнулась на что-то большое и скользкое. Это была Белкина голова. Тёте Наде я ничего не сказал, и она до сих пор думает, что её Белка возит в Бахте воду.

3

Есть такой обычай, когда тронется Енисей, зачерпнуть из него воды. Ледохода все ждут, как праздника. Тётя Надя внимательно следит за каждым шагом весны. То «плисочка прилетела», то «гуси за островом гогочут, и сердце заходится»... «Анисей-то, гля-ка, подняло совсем, однако, завтра к обеду уйдёт». Но медленно дело делается. Прибывает вода, растут забереги, трещины пересекают лёд, и всё никак не сдвинется он с места. Но, наконец, в один прекрасный день раздаётся громкий, как выстрел, хлопок, проносится табунок уток, и вот пополз огромный Енисей с опостылевшим потемневшим льдом, с вытаявшими дорогами, с тычкой у проруби, появляется длинная трещина с блестящей водой, с грохотом и хрустом лезет лёд на берега, и вот уже тётя Надя, что-то звонко выкрикивая и крестясь, бежит с ведёрком под угор, кланяется Батюшке-Анисею в пояс. Дожила...